

Евген Соловев

**Книга О Максиме Горьком и
А. П. Чехове**

**С Приложением Автобиографии
Горького и Портретов Горького
и Чехова**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
Е14

Е14 **Евген Соловев**
Книга О Максиме Горьком и А. П. Чехове: С Приложением Автобиографии
Горького и Портретов Горького и Чехова / Евген Соловев – М.: Книга
по Требованию, 2021. – 265 с.

ISBN 978-5-517-87078-0

ISBN 978-5-517-87078-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

Изъ автобіографіи М. Горькаго.

„Родился я,—пишетъ Горькій *),—14 марта 1868 или 9-го года въ Нижнемъ, въ семьѣ красильщика Василя Васильевича Каширина, отъ дочери его Варвары и пермскаго мѣщанина Максима Савватіева Пѣшкова, по ремеслу драпировщика или обойщика. Съ тѣхъ поръ съ честью и незапятнанно ношу званіе цехового малярнаго цеха“. Прибавимъ, что мальчикъ былъ окрещенъ Алексѣемъ. Это имя Горькій при выборѣ псевдонима промѣнялъ на имя отца. Слѣдовательно, настоящее имя и фамилія Максима Горькаго—Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ.

Мальчикъ осиротѣлъ рано, „Отецъ умеръ въ Астрахани,—продолжаетъ г. Горькій,—когда мнѣ было 5 лѣтъ, мать—въ Канавинѣ-слободѣ. По смерти матери дѣдушка отдалъ меня въ магазинъ обуви; въ ту пору имѣлъ я 9 лѣтъ отъ роду и былъ дѣдомъ обученъ грамотѣ по Псалтири и Часослову. Изъ „мальчиговъ“ сбѣжалъ и поступилъ въ ученики къ чертежнику,—сбѣжалъ и поступилъ въ иконописную мастерскую, потомъ на пароходъ въ поварята, потомъ въ помощники садовника. Въ сихъ занятіяхъ прожилъ до 15 лѣтъ, все время занимаясь усердно чтеніемъ классическихъ произведеній неизвѣстныхъ авторовъ, какъ-то: „Гуакъ или непрео-

*) См. „Семья“. 1899 г. № 35.

боримая вѣрность“, „Андрей Безстрашный“, „Япанча“, „Яшка Смертенскій“ и т. п.

„На пароходѣ, когда былъ поваренкомъ, на образованіе мое сильно вліялъ поваръ Смурый, который заставлялъ меня читать Житія святыхъ, Эккартгаузена, Гоголя, Глѣба Успенскаго, Дюма-отца и многія книжки франко-масоновъ. До повара—терпѣть не могъ книгъ и всякой печатной бумаги, до паспорта включительно.

„Послѣ 15 лѣтъ возымѣлъ я свирѣпое желаніе учиться, съ какою цѣлью поѣхалъ въ Казань, предполагая, что науки желающимъ даромъ преподаются. Оказалось, что оное не принято, вслѣдствіе чего я поступилъ въ крендельное заведеніе, по 3 руб. въ мѣсяць. Это — самая тяжелая работа изъ всѣхъ опробованныхъ мною.

„Въ Казани близко сошелся и долго жилъ съ „бывшими людьми“ (зри „Коноваловъ“ и „Бывшіе люди“). Работалъ на Устьѣ, пилилъ дрова, таскалъ грузы“ и, прибавимъ, почитывалъ всевозможныя книжки, которыми пичкали добрые люди. Какъ тяжело жилось въ этомъ періодѣ Горькому, можно судить по тому, что въ 1888 г. онъ покушался на самоубійство, не имѣвшее, къ счастью, смертельнаго исхода: пуля на этотъ разъ оказалась не шальной и пощадила намъ талантливаго писателя. „Похворавъ, сколько требовалось, — продолжаетъ Горькій, — я ожилъ, дабы приняться за торговлю яблоками“.

Послѣ Казани-мачехи Горькій пробуетъ счастья въ Царицынѣ, гдѣ занимаетъ должность жел.-дор. сторожа, а затѣмъ опять появляется, по случаю призыва, въ Нижнемъ. Въ солдаты, однако, Горькій не попадаетъ, — „дырявыхъ не берутъ“, а дѣлается продавцомъ баварскаго кваса. Наконецъ, многострадальный членъ „малярнаго цеха“ какими-то судьбами пристраивается пись-

моводителемъ у присяжнаго повѣреннаго Ланина. Это въ жизни Горькаго—важный останочный пунктъ.

А. И. Ланинъ—одинъ изъ симпатичнѣйшихъ людей въ Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ онъ пользуется большимъ уваженіемъ. Въ Горькомъ онъ принялъ участіе, равное отеческому. „Вліяніе его на мое образованіе было неизмѣримо огромно,—поясняетъ Горькій. — Это высокообразованный и благороднѣйшій человѣкъ, коему я обязанъ больше всѣхъ“. А. М. Пѣшковъ и А. И. Ланинъ, добавлю мимоходомъ, большіе друзья и теперь.

Какъ ни жилось хорошо А. М. у Ланина, гдѣ онъ отдохнулъ, наконецъ, душой, но его снова потянуло къ бродячей жизни. Бродилъ онъ и скитался не мало, при чемъ исколесилъ чуть ли не всю Россію. Гдѣ онъ только не бывалъ, какихъ работъ ни дѣлывалъ, чего не насмотрѣлся и не натерпѣлся! Объ этомъ могутъ свидѣтельствовать хотя бы очерки: „Чудра“, „Челкашъ“, „Мальва“, „Пилай“, „Изергиль“, „Мой спутникъ“, „Проходимецъ“, „О Соколѣ“ и др.

На мысль писателя впервые наткнулъ Горькаго его знакомый—Александръ Меѳодіевичъ Калужный, „которому, —пишетъ авторъ,—я тоже многимъ обязанъ“. Первою вещью, появившейся въ печати, былъ рассказъ „Макаръ Чудра“, напечатанный въ октябрѣ 1892 или 1893 г. въ газетѣ „Кавказъ“. Скитанія привели тогда Горькаго въ Тифлисъ, гдѣ онъ работалъ въ желѣзнодорожныхъ мастерскихъ. Вернувшись затѣмъ въ родные края, Горькій началъ помѣщать свои очерки въ поволжскихъ газетахъ. Можетъ быть и здѣсь, въ новой для него области литературы, для Горькаго начался бы цѣлый рядъ въ своемъ родѣ скитаній, если бы не счастливый случай. „Въ Нижнемъ въ 93—94 г.,—сообщаетъ г. Горькій,—я познакомился съ В. Г. Короленко,

которому обязанъ тѣмъ, что попалъ въ большую литературу. Онъ очень много сдѣлалъ для меня, многое указалъ, многому научилъ. Первою вещью Горькаго, напечатанною въ толстомъ журналѣ, былъ „Челкашъ“, попавшій, благодаря В. Г. Короленко, въ „Русск. Бог.“. Вещь эта рѣшила судьбу Горькаго.

„Напишите объ этомъ, непременно напишите“,—его, Горькаго, училъ писать Короленко, а если Горькій мало усвоилъ отъ Короленко—въ этомъ виновенъ онъ, Горькій. Пишите: первымъ учителемъ Горькаго былъ солдатъ-поваръ Смурый, вторымъ—адвокатъ Ланинъ, третьимъ—Калюжный, человекъ „внѣ общества“, четвертымъ—Короленко.

Здѣсь конецъ автобіографіи Горькаго. „Больше, — заканчиваетъ онъ,—не хочу писать. Я разстроился и разстрогался при воспоминаніи объ этихъ великолѣпныхъ людяхъ“...

I.

Въ предлагаемомъ очеркѣ я не хочу дать полной характеристики дарованія Горькаго и того вклада, который сдѣланъ имъ въ нашу литературу. О такой полной характеристикѣ было бы странно мечтать теперь, когда Горькому всего какихъ-нибудь тридцать лѣтъ и когда никто не знаетъ, до какихъ размѣровъ могутъ развернуться его силы. Но, все равно, то, что сдѣлалъ молодой писатель настолько значительно и оригинально, что заслуживаетъ очень пристальнаго вниманія къ себѣ.

Для очень и очень многихъ успѣхъ М. Горькаго былъ полной неожиданностью. Этотъ успѣхъ созданъ внезапно, какъ-то сразу и выросъ до большихъ размѣровъ просто и легко. Этотъ успѣхъ—точно красивый цвѣтокъ, распустившійся въ одну ночь и поражающій всякаго

своимъ великолѣпіемъ. И въ то же время нельзя не чувствовать, что этотъ успѣхъ не имѣетъ въ себѣ ничего случайнаго и легковѣснаго, что Горькій заставляетъ звучать въ душѣ читателей такія струны, которыхъ давно уже не удавалось съ одинаковой силой затронуть ни одному писателю. Всякій успѣхъ имѣетъ серьезное общественное значеніе, потому что говоритъ намъ, чего ищутъ люди въ данную минуту. Опредѣлить причины успѣха—обязанность критики, быть можетъ даже одна изъ главныхъ ея обязанностей—все равно какой это успѣхъ—дѣйствительный или призрачный, успѣхъ клуба атлетовъ или союза писателей, драмъ Шекспира или китайскихъ жонглеровъ. Главное, чтобы былъ успѣхъ, какъ соціологическое явленіе, какъ признанное вліяніе, потому что, если, вообще говоря, завистливые и ревниво оберегающіе свою дѣйствительную или призрачную самостоятельность люди допускаютъ чье-нибудь вліяніе надъ собой, значитъ оно удовлетворяетъ какой-нибудь насущной и тревожной потребности ихъ духа. Безъ этого дѣло не обходится и по поводу успѣха можно смѣло сказать, что дыма безъ огня не бываетъ.

Чтобы не вдаваться въ излишнія подробности и слишкомъ пространныя общія разсужденія о духѣ нашего времени, я просто и откровенно разъясню, чѣмъ собственно лично мнѣ самому понравились произведенія Горькаго. Конечно, это очень и очень упрощенный пріемъ критики, но такъ какъ я живу въ той же обстановкѣ и тѣми же думами и заботами, какъ и большинство современниковъ, то, естественно, что элементы моего мышленія и настроенія должны быть приблизительно такіе же, какъ и у нихъ. Слѣдовательно, говоря отъ себя, я тѣмъ самымъ говорю отъ многихъ.

„Alors c'est une émeute!“ „Non, sir, c'est une révolution“,—отвѣчали Людовику XVI-ому.

Да, это литературная революція. Еще недавно сравнительно у насъ былъ періодъ своего Kulturkampf'a, періодъ торжествующей огромной вѣры въ силу знанія и его способность исцѣлять всякое жизненное зло. Это—шестидесятые годы, отчасти и семидесятые. Потомъ эта торжествующая вѣра пошатнулась, и вмѣсто „Матеріи и силы“ ищущіе люди стали зачитываться „Иродіадой“ и „Искушеніемъ св. Антонія“. Вся сила чувства, вся тоска по чистой, хорошей жизни была направлена могучей указкой Толстого въ одно узкое русло—служенія добру, служенія собственному нравственному усовершенствованію.

Прошло и это время. Мы можемъ смотрѣть ужъ на него какъ на наше недавнее прошлое и удивляться его напуганности. Эта напуганность отрывала людей отъ общества и науки, заставляла ихъ дрожать передъ собственной грѣховностью, спать чуть ли не въ гробахъ и носить кандалы всякаго рода мелочныхъ обязательствъ. Въ этомъ была видна робость мысли, страхъ передъ чѣмъ-то, что не поддается даже опредѣленію.

Горькій сказалъ намъ: „Труссы вы“ и водворилъ въ литературѣ своего босяка.

Мы смотримъ на этого босяка, мы любуемся на него, прислушиваемся къ его словамъ, удивляемся ему. Въ немъ есть что-то странное, необычное; онъ точно пришелъ къ намъ откуда-то издалека, изъ степей и лѣсовъ, и рассказалъ намъ о томъ, какъ *тамъ* свѣтитъ солнце, какъ *тамъ* поютъ птицы, какъ *тамъ* не дрожать люди. Мы откликнулись на этотъ призывъ очень осторожно, разумѣется, и очень благовоспитанно, конечно,—не стали босяками,—о чемъ и говорить нечего,—но все же от-

кликнулись, и въ душѣ каждого изъ насъ шевельнулась мысль, что „да, пожалуй, слишкомъ уже много вольныхъ и невольныхъ стѣсненій наложили мы на свое культурное существованіе, слишкомъ туго затянулись всякими условностями, всякими приличіями и обычаями и не мѣшало бы чувствовать себя посвободнѣе“. Это не Богъ знаетъ что такое особенное, но когда вся жизнь человѣка огорожена палями всякихъ правилъ, а страхъ—мучительный, принижаящій страхъ передъ угрозами завтрашняго дня—едва ли не составляетъ сущности его бытія, то, пожалуй, на первый разъ достаточно и этого.

„Труссы вы“,—сказалъ Горькій и показалъ намъ своего босяка. Быть можетъ, его босякъ—призракъ, быть можетъ, такого босяка вы не найдете ни въ одной трущобѣ, но это безразлично. Развѣ люди когда-нибудь жили, да и теперь еще развѣ они живутъ одною дѣйствительностью?

На эту тему у Щедрина есть превосходная сказка, которая называется „Баранъ непомнящій“. Суть ея сводится къ тому, что непомнящій баранъ, откормленный и породистый, несомнѣнный питомецъ усовершенствованной бараньей культуры, съ легкимъ сердцемъ наслаждается всѣми прелестями бытія въ видѣ обильной пищи, прекраснаго ухода, обилія хорошенькихъ и податливыхъ ярочекъ и какъ нельзя лучше исполняетъ обязанности, ради которыхъ онъ призванъ—улучшеніе стада. Всѣ имъ довольны, хозяинъ имъ не нахвадится. На бѣду барану непомнящему случилось увидѣть во снѣ свободаго барана. Тутъ все пошло прахомъ. Затоковалъ непомнящій, и все ему очертѣло: ни пьетъ, ни ѣсть, а ярочекъ такъ бодаеть, какъ будто онъ гнусныя какия. Что ни пробовали дѣлать съ нимъ—ничего не

выходило: ни ласка, ни строгость, ни особенная пшеница, ни арапники не помогали; пришлось дать непомнящему чистую отставку, такъ какъ очевидно, что послѣ своего страннаго сна ни на что онъ болѣе не сталъ пригоденъ.

Да, странный сощъ увидѣлъ баранъ непомнящій, и должно быть въ какомъ-нибудь особенномъ ореолѣ красоты и величія явился къ нему во снѣ свободный со-братъ. Можетъ быть у того глаза сверкали какимъ-нибудь особеннымъ блескомъ; можетъ быть въ лицѣ у него было выраженіе, ничего общаго съ бараньимъ не имѣющее; можетъ быть онъ слово такое зналъ, отъ котораго даже откормленнаго, породистаго барана бросаетъ въ краску стыда и негодованія... Все можетъ быть... и для насъ теперь важенъ самый фактъ.

Водвореніе босяка въ литературѣ—лишнее напоми-наніе о томъ, что не всегда выгодно мѣнять свое пер-венство, свое человѣческое достоинство и кое-какія черты внутренней свободы духа за чечевичную похлебку. Безпокойство, неудовлетворенность и отчаяніе часто являются естественными послѣдствіями такого рода мѣны. Между прочимъ это—вѣчная и дѣйствительно красивая тема литературы, за которую не разъ брались наши классики.

Чтобы быть ближе къ босякамъ, напомнимъ въ двухъ строкахъ кое-что изъ Успенскаго.

Въ одномъ изъ его рассказовъ подвыпившій мѣщанинъ такъ объясняетъ свое пониманіе воли и независи-мости: „А вотъ теперь... ха-ачу—сниму сапогъ, ха-ачу—надѣну. И никто мнѣ воспрепятствовать не можетъ. Ха-ачу—сниму, ха-ачу—надѣну...“ Произнося эти смѣхо-творныя слова, мѣщанинъ плачетъ хотя пьяными, но искренними слезами, потому что за „сапогомъ“ скры-вается много невысказаннаго горя, много вынесенныхъ

мукъ. Мѣщанипа всѣ „гнули“ съ самаго дѣтства, каждый въ ту сторону, какую хотѣлъ, даже „мамынька“,— и миллионы полученныхъ имъ затрещинъ имѣли единственно цѣлью стереть въ немъ всякое представленіе о своей личности и заставить его сидѣть, ходить и даже любить не иначе, какъ по прихоти окружающихъ. Вырвался человѣкъ на минутную свободу, заговорило въ немъ, хотя бы смутно и неясно, какое-то забитое и робкое представленіе о своемъ „я“, и принялся онъ за свое смѣхотворное дѣло, поливая его слезами. А ни въ чемъ другомъ своей свободы проявить онъ не могъ и не умѣлъ, и никакого другого подвига, кромѣ сниманія и одѣванія сапога, онъ въ данную минуту—да, вѣроятно, и во всю свою жизнь—совершить былъ не силахъ. Но для него, очевидно, этотъ самый дурацкій подвигъ имѣетъ рѣшающее, пожалуй, даже абсолютное значеніе.

„Вотъ и думаю я: возьму и пропью... все“,—говорить другой герой Успенскаго.

Формула и тутъ дурацкая, бессмысленная, но подоплека ея та же, какъ и въ процессѣ обувки и разувки. Надоѣло человѣку жить такъ, какъ онъ жилъ раньше. „Очертѣли“ ему эти постоянныя заботы и думы о благополучіи и хозяйствѣ, о маленькомъ довольствѣ, не въ силахъ больше душа оставаться въ чертѣ осѣдлости, указанной ей бытіемъ, и рвется она куда-то, рвется порывисто, безтолково, руководимая самымъ смутнымъ представленіемъ о жизни, рвется, какъ арестантъ изъ душевной тюрьмы на волю. А гдѣ же воля? Все равно, какъ наши первые переселенцы исходили десятки тысячъ верстъ, отыскивая кто истоковъ Енисея, кто города, построеннаго нѣкимъ „богоугоднымъ старцемъ Павломъ“, кто „Азіатской Европы“, такъ бродятъ по

землѣ русской эти темныя забитыя души въ поискахъ чего-то...

У Успенскаго нѣтъ ни одного цѣльнаго типа бродяги, весь душевный міръ котораго опредѣлялся бы исключительно стихійнымъ порывомъ къ привольной жизни; нѣтъ, быть можетъ, просто потому, что такіе всецѣло казацкіе типы—явленіе рѣдкое и экстраординарное, но зато онъ превосходно опредѣлилъ всѣ условія, которыя могутъ выработать такой типъ. Въ сущности всѣ эти условія сводятся къ одному основному: жизнь ежесекундно гнетъ человѣка въ бараній рогъ. И большинство, конечно, гнется; но вотъ находится одинъ какой-нибудь на тысячу, особенно упругій, что ли, и срывается съ предназначеннаго ему мѣста.

Тогда на сцену выступаетъ босякъ, и въ этомъ босякѣ есть что-то „символическое“...

Конечно, мы не первый день живемъ на свѣтѣ, и не первый разъ герои Горькаго появляются на страницахъ нашихъ литературныхъ произведеній. Напротивъ того: всякій знаетъ, что имъ посвящены даже такія классическія произведенія, какъ „Записки изъ мертваго дома“ Достоевскаго. Затѣмъ, есть у насъ Помяловскій, есть Левитовъ, есть Мельшинъ, есть Максимовъ, есть десятки другихъ, менѣе замѣтныхъ и даже совсѣмъ незамѣтныхъ писателей, находившихъ свое вдохновеніе въ труппахъ и вертепахъ,—но все это не то. Если условія нашей общественности создали особый интересъ къ бродячему и босому народу, то тѣ же условія вызвали и особое отношеніе къ нему, отношеніе глубокой жалости и состраданія, какъ къ даромъ пропадающимъ силамъ, которымъ, разумѣется, надо прежде всего школу и школу, чтобы онѣ нашли истинное свое примѣненіе. Не спорю, и жалость и состраданіе—превосходныя чув-